

ОПЫТЫ

II

EXPERIMENTS NEW YORK

О П Ы Т Ы

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й

Ж У Р Н А Л П О Д Р Е Д А К Ц И Е Й

Р. Н. ГРИНБЕРГА И В. Л. ПАСТУХОВА

ИЗДАТЕЛЬ М.-Э. ЦЕТЛИНА

К Н И Г А В Т О Р А Я

Н Ь Ю - Й О Р К — 1953 Г О Д

«О Т Д Ы Х»

(Глава из кн. «Чехов»)

Россия восьмидесятых, начала девяностых годов — это почти сплошная провинция. И на верхах, и в среднем классе, и в интеллигенции. Одинокий Толстой не в счет, в общем-же время Надсона, Апухтина, передвижников, да и весь совершенно особый склад русской жизни, начиная с правительства, через барина до Тульского мужичка — все вроде как за китайской стеной. Прорубал Петр окно в Европу, прорубал, да видно не так легко по настоящему его прорубить.

Чехов сам в Таганроге возрос, в провинциальной Москве зрел, Лейкиным и «Будильникам» отдавал юные писательские годы. Но ему были отпущены дары несравнимые. Вечно в захолустье он сидеть не мог.

Сахалин весьма подавил его. Как всегда в жизнях значительных, всё само собой складывалось так, чтобы получилось цельно. Надо было подышать иным, да и повидать новые края, совсем иные.

Суворин с сыном собирались в марте 91 года за-границу. Чехов был в Петербурге, Суворин пригласил его с собой и решил ехать в Италию и Францию.

Вероятно, из всех троих самым образованным и (относительно) европейцем был самоучка Суворин старший. Чехов о Западе, об Италии и Франции понятия не имел и рос в семье, для которой земля, в сущности, стояла на трех китах. Тем удивительнее видеть, как остро он воспринимал всё в путешествии — возможно, и противоположность с Сибирью и Сахалином тоже роль сыграла.

Письма его из Вены, особенно-же из Венеции, восторженны. Пожалуй, это самые высокие ноты во всей чеховской переписке. Восторженность вовсе ему несвойственна, но тут она есть, простая, искренняя. Ее сразу чувствуешь и радуешься, что живая душа, пусть даже не без наивности, так отзывается.

Вот, например, о Вене: «Церкви громадные, но они не давят своей громадою, а ласкают глаза, потому что кажется, что они сотканы из кружев». «Всё великолепно, и я только вчера и сегодня как следует по-

нял, что архитектура в самом деле искусство». Но возбужденность у него такая, что остановиться он уже не может. И женщины красивы, и лошади превосходны, и кучера фиакров франты и «одних галстухов в окнах миллиарды», и вежливость, предупредительность... «Да вообще всё чертовски изящно» — еще шаг и начнется Гоголь.

Венеция окончательно его восхитила. Остановились они с Сувориным, видимо, у Даниэли или Бауэра — «в лучшем отеле, как дожи» — что обошлось Чехову в копеечку, но отставать от Суворина было нельзя).

В Венеции-же оказались в это время Мережковские, Дмитрий Сергеевич и Зинаида Николаевна. «Мережковский, которого я встретил здесь, с ума сошел от восторга». Но сам Чехов от него не отставал. «Замечательнее Венеции я в своей жизни городов не видел». «Здесь собор Св. Марка — нечто такое, что описать нельзя, дворец дождей и такие здания, по которым я чувствую подобно тому, как по нотам поют, чувствую изумительную красоту и наслаждаюсь».

Дальше идет фраза, которую уж вполне мог-бы написать Гоголь: «А вечер! Боже ты мой Господи! Вечером с непривычки можно умереть». «Здесь в мире красоты, богатства и свободы не трудно сойти с ума. Хочется здесь навеки остаться, а когда стоишь в церкви и слушаешь орган, то хочется принять католичество» — хорошо, что последних слов не слышал профессор из «Скучной истории», или какой-нибудь другой медикус Московского Университета!

На почве восторга Чехов в одном письме даже занесся, но не по своей вине. Сбила его Зинаида Николаевна Мережковская. Видимо, в юности она так же всё путала, как и в старости, в Париже.

Ясно видишь как она, ленивая и слегка насмешливая, со своими загадочно-русалочными глазами, покуривая папироску, вяло тянет:

— Да, здесь всё дешево... Мы за квартиру и стол с Дмитрием платим... Дмитрий, сколько мы платим?

— Зи-и-на, восемнад-цать франков!

— Слышите, Чехов... Ну, вот вам. Восемнадцать франков. Разве это дорого?

Возможно, Мережковский разговаривает в это время с Сувориным и не слышит, как она добавляет Чехову, которого считает немножко тюфяком и провинциалом:

— Восемнадцать франков в неделю... совсем недорого.

Чехов поверил, и хотя сам платил вовсе недешево, отписал в таком духе сестре в Москву. Но на другой день пришлось поправлять. «Вчера,

описывая дешёвизну венецианской жизни, я немножко хватил через край. Виновата в этом г-жа Мережковская». «Вместо неделю, читай в день».

В Венеции повезло им и насчет погоды — солнечно, чудесно. Дальше пошло хуже, во Флоренции дождь, в Риме тоже неважно и впечатление бледнее.

Флоренция всё-же, несмотря на дождь, тоже понравилась. («Я тоже скучаю по Венеции и Флоренции...» — из позднего письма, уже в России, Суворину).

Чтобы войти в Рим и его почувствовать, надо там жить дольше. Три, четыре дня мало, а после блеска Венеции может даже разочаровать. До Чехова Рим мало дошел, слишком утомил хождением с утра до вечера (...«горят подошвы»). О Риме-то он и обронил фразу, которая может дать неверное представление о том, как он оценивал Италию. («Рим похож в общем на Харьков»). Видимо, и Григорович распространял о нем неправильные сведения в подобном роде — Чехову было это неприятно, в письме к Суворину он почти сердится. На самом деле Италия произвела на него впечатление огромное — русскую традицию, идущую со времен Гоголя и Жуковского, чрез Тургенева до Мережковского и модернистов — эту традицию Чехов, лишенный всякой традиции, всё-таки поддержал. «Очаровательная страна. Если бы я был одиноким художником и имел деньги, то жил бы здесь зимою. Ведь Италия, не говоря уже о природе ее и тепле, единственная страна, где убеждаешься, что искусство есть в самом деле царь всего, а такое убеждение дает бодрость».

* * * *

Франция отозвалась в нем бледнее — это законно для въезжающего в нее из Италии. Но и тут впечатлений много, отдых продолжается.

Станным образом, во Франции Чехов довольно часто упоминает о России — о том русском, что там видел. В Ниццу попал на шестой неделе Великого Поста, в Вербное воскресенье отправился в русскую церковь. Вместо верб видел пальмовые ветви, удивился, что в хоре вместо мальчиков поют дамы, но нашел, что поют хорошо (в этом деле понимал, еще со времен Таганрога и отцовского хора с кузнецами). «Великолепно пели «Херувимскую» № 7 Бортнянского и простое «Отче наш».

В Монте Карло играл в рулетку, о ней пишет в тоне «дедушке на деревню».

В Париж попал всего на несколько дней и, конечно, узнать его хотя

бы приблизительно не мог. Но вот, однако же, пошел опять в русскую церковь — это и был тот самый храм на rue Daug, где отпевали Тургенева, позже встречали императора Николая II-го, еще позже собирались и сейчас собираются бездомные люди эмиграции. Во времена Чехова эмигрантов в Париже было мало, и на Светлую Заутреню в церковь они не ходили. Да тогда и сама церковь называлась «посольской», другой стиль, народу на службах немного, у дам свои стулья, дамы больше посольские, язык больше французский. Чехова удивило здесь, что пели французы. «Церковь в Париже велика, размерами напоминает Митрофановскую, но было тесно и душно. Греки слушают вместе с русскими, да и французов побилось много».

Не знаю, был-ли он в Лувре. Видел Эйфелеву башню, посетил выставку, побывал и в Салоне. Но нашел, что Левитан выше французских пейзажистов.

В общем же от Парижа и Монте Карло остался у него какой-то мутный осадок.

Но всё это быстротечно, из Парижа уехали прямо домой — Чехов заранее поручил брату Михаилу, недавно получившему место в Алексине, найти дачу на лето — во что бы то ни стало.

Алексин небольшой городок Тульской губернии, на Оке, в сторону Калуги, в чудесной пересеченной местности — жило там тогда семьсот душ, но души эти любовались со своего взгорья и Окой, и большаком с березами за ней, полями и лесочками, всей свежестью и миловидностью средне-русского пейзажа. Эти места любили художники тогдашние — Поленов писал Оку, Левитан гостил здесь у Чехова.

Михаил Павлович усердно искал брату пристанище на лето, но хорошего найти не мог. Пришлось снять небольшой домик у станции и моста.

Туда и переехали Чеховы, всей семьей, старые и молодые, как всегда, жили вместе. Было тесновато, и казалось временами, что уж очень одиноко. Лес, соловьи, недалеко Ока. «Тихо и покойно, а во время дурной погоды будет здесь скучно и грустно». Продолжалось это, однако же, недолго: к Марье Павловне направлялась из Москвы подруга, Лика Мизина, с Левитаном. На пароходе из Серпухова познакомилась она с молодым человеком в поддевке и высоких сапогах — помещиком Былим-Коловским. Рассказала ему, что едут на дачу к Чеховым, а дачу эту у железнодорожного моста он знал и правильно оценил положение: теснота будет страшная.

Дальше всё произошло в духе того времени: на второй же день к

даче подкатали две тройки, Былим-Колосовский приглашал к себе совсем незнакомых ему людей (Чехова как писателя, возможно, и знал. А вернее делал вид, что знает. Но само звание «писатель» тогда в России ценилось).

Чехов поехал, и конечно, не один, а со всей более молодой частью населения. Оказалось, что в часе езды у Колосовского великолепное имение Богимово, со старинным барским домом, где останавливалась некогда Екатерина проездом в Крым. Всё в огромных размерах: комнаты так велики, что эхо повторяет сказанное в них, гостиная с колоннами, зал с хорами, дивные липовые аллеи, речка, мельница, пруд.

Антон Павлович тотчас снял верхний этаж этого дома и 17-го мая уже из Богимова писал Лике, уехавшей в Москву, восторженное письмо.

Восторгаться, видимо, было чем. Сам Чехов поселился в бывшей гостиной с колоннами и таким огромным диваном, на котором помещалось чуть не десять человек. Окна до полу. Когда ночью гремела гроза, то вся комната вспыхивала в ее свете.

Окружение старины, барства, природы, поэзии — что же лучше для отдыха. Но отдых был здесь более внутренний, чем внешний. Можно думать, что в рамке чудесного дома, парка, прудов, в воздухе благожелания и дружелюбия чувствовал себя Антон Павлович хорошо. Но сейчас же засел за работу. «В лености житие мое иждих», говорил о себе — и как несправедливо говорил! Сколько сделал за недолгую свою жизнь и с каким упорством, вполне чеховским, родовым, трудился всегда, несмотря на неважное здоровье.

В этом Богимове вставал около пяти утра, брат Михаил варил ему кофе в особенном кофейнике, он его пил и засаживался писать — не на столе, а как то ухитрялся на подоконнике. Окно выходило в парк. Дрозды перепархивали, тянуло влагой и благоуханием: где-то скосили лужайку, где-то липы цветут. В цветнике разные левкои, маргаритки, львиные пасти.

До одиннадцати так вот он пишет, по временам заглядывая в парк. Потом обед, краткий сон и опять труд до вечера.

Настроение было хорошее, написал он за богимовское лето очень много.

Это, во-первых, «Бабы». О них он отзывался: «летний, т. е. жиденький» рассказ — ничего «жиденького» в нем нет, это всегдашняя пренебрежительная его манера. Напротив, сгусток горечи, мрака, деревенской беспросветности. Есть отзвук Сахалина в самой драме семейной, кончающейся мышьяком и каторгой для Машеньки, есть глубоко запрятанный

стон о детях (Кузька, сын каторжанки), есть всегдашний священный гнев на фарисеев, есть боль о женской доле, а в развитии художества самого Чехова «Бабы» как бы бутон будущих «Мужиков», «В овраге» — вершин писания его. Сказать про этот рассказ, что он «жиденский» можно только на смех.

Душевно это пока не отдых, всё еще продолжение сахалинской преисподней, от которой даже светлое прикосновение Италии не вполне исцелило — а за спиной недописанный «Сахалин», им тоже приходится заниматься.

Настоящий отдых есть «Дуэль» — июль-август. Что писалась эта «Дуэль» в богимовском доме с эхом в комнатах и колоннами в гостиной, с парком в вековых липах, куда заглядывал он постоянно, разложив листки рукописи на подоконнике, чуть не целый день выводя на бумаге мелкий узор слов — это естественно, так и должно быть. В нижнем этаже, под ним, жил зоолог Вагнер, тоже с семьей. С этим Вагнером шли у него долгие споры — о вырождении, о праве сильного, о подборе — всё это перебралось в «Дуэль», как и сам Вагнер обратился в фон Корена.

Но самое главное: начал и написал он теперь светлую и милостивую повесть, добрую и трогательную, способную действительно целить раны, врачевать и подымать душу. Сахалин тут оказался в жизненной судьбе его, да и художественной, очень важным: после зрелищ бедствий человеческих особенно открылось сердце, да и захотелось мира — моря, солнца, умиления, Кавказа, захолустной и нешумной жизни, где есть — как и везде — люди слабые и порочные, быть может, на границе гибели моральной, но есть и доброта, улыбка. Гибель померещилась только, не пришла. А пришло спасение.

Путешествие его вдоль черноморского побережья (1888 г.) не прошло бесследно. Весь воздух повести, пейзаж, быт, люди, всё с той поездкой связано, кроме только фон-Корена.

Отправляя «Баб» Суворину, он приписал: «Скучно писать из мужицкой жизни. Надо будет за генералов приняться».

Настоящих генералов нет в «Дуэли». Есть военный врач Самойленко, собственно полковник, но ему нравилось, чтоб его называли генералом. Дело, однако, в том, что Самойленко этот, в своей простоте, горячности и доброте до такой степени «заступник» прежней России, что какие бы ни были ее грехи и слабости и неустройства, один такой кипяток заслоняет собой тьму пороков. Он очарователен и когда шумно приготовляет салат для своих столовников, фон-Корена и молодого дьякона, и когда бес-

смысленно кричит, и когда без разбору дает взаймы деньги, и когда заступает за слабых, и когда на минуту обижается на Лаевского, и когда — не читав ни страницы Толстого — смущенно говорит о нём, что это великий писатель, потому что «все писатели пишут из воображения, а он прямо с натуры».

Есть и другое лицо в «Дуэли» — не знаю, откуда взял его Чехов — будто и второстепенное, мало причастное к действию, но в решительную минуту как раз весь ход действия поворачивающее — молодой смешливый дьякон. Тут Чехов будто совсем забыл, как сам увлекался Дарвином, как спорил с Сувориным, защищая материализм. Дьякон, «простое сердце» произведения, временно присланный в приморский городок, только и ждущий случая услышать чтонибудь забавное и покатиться со смеху, он-то и оказывается высшим победителем повести — и своими детскими (по чистоте и простодушию) словами и делами сражает умного, но самоуверенного фон-Корена.

Чехов быстро, по многу писал «Дуэль». Воздух ее освежал, даже укреплял его, но к концу он устал, ему стало казаться и длинно, и утомительно, и «напутал» — многое он переделывал, всю вещь переписал, как всегда, в письмах отзывался о ней пренебрежительно, оказалось же, что повесть эта, кроме внутренней значительности, выделяется и постройкою своею: очень хорошо развивается, вся движется — несмотря на философию зоолога — драматизм нарастает и разрешается как громом гроза — дуэлью. «Дуэль» построена не как хроника, а скорее как пьеса, не пьеса «настроения», а с завязкой, подъемом и очистительною развязкой.

На глазах читающего слабый Лаевский и подруга его Надежда Федоровна каждый по своему катятся вниз и вот-вот погибнуть, а ведь в сущности их спасает смешливый дьякон. Смешлив-то он смешлив, но когда фон-Корен стал холодно целиться в Лаевского, он не засмеялся, а заорал из-под куста (был очень любопытен, хотелось посмотреть дуэль, хотя это и не очень подходяще «для духовного лица»).

Дьякон и раньше, в разговорах с фон-Кореном, поддевал его очень простыми словами. А теперь уже не слова, а дела: дьякон просто движением сердца спасает и Лаевского, и самого фон-Корена: один остается жив, а другой, промахнувшись, не становится убийцей. Здесь у дьякона именно слово стало делом: он ведь крикнул «слова» — только слова эти имели силу доброй молнии, т. е. дела.

Чехову, кажется, нелегко дался конец повести — в конце этом есть

художническая опасность (начинают «новую жизнь»... — можно сделать неубедительно). Но он кончил отлично.

Как ни трудно для человека, хорошо знавшего жизнь, искренно поверить в возможность резкой душевной перестройки и убедить в этом читающего, он именно это и сделал. Ничто не режет глаза в заключительной сцене, через три месяца после дуэли, когда фон-Корен направляется к пристани, откуда должен уезжать и заходит по дороге к бывшему врагу проститься. Находит там других Лаевского и Надежду Федоровну, чем те, кого знал раньше и признаёт свою ошибку во всей истории с дуэлью. Дьякон и Самойленко его сопровождают, и опять дьякон оказывается победителем. Уже не хохоча, а восторженно говорит он фон-Корену:

— Николай Васильевич, знайте, что сегодня вы победили величайшего из врагов человеческих — гордость!

Вся внутренняя направленность «Дуэли» глубоко-христианская. Радостно удивляет тут в Чехове оптимизм, совершенно евангельский: «во едином часе» может человеческая душа спастись, повернуть на сто восемьдесят градусов. Радует и то, как убедительно он решил труднейшую артистическую задачу — без малейшей натяжки и неестественности.

• • • •

«После Илии повеяло холодом. Пахнет осенью. А я люблю российскую осень. Что-то необыкновенно грустное, приветливое и красивое. Взял бы и улетел куда-нибудь вместе с журавлями» — это написано Суворину 29-го июля, а 18-го августа сообщает он, что «Дуэль» кончена. Кончалось и богимовское лето близ Алексина, в воздухе недалекой Оки, лесов и перелесков, полей тульско-калужских. Всё это Чехову очень идет, он всему здесь созвучен. Удачное, полное чувствуешь в его пребывании в Богимове — помещик Былим-Колосовский в своей поддевке и высоких сапогах, с залихватскими тройками и широким размахом оказал литературе нашей услугу несомненную.

Правда, «Сахалин» еще не кончен, но внутренне Чехов уже выходит из него, остается собственно только «послушание» — необходимость довести до конца взятую тяготу. Он ее продолжает и вывозит неконченную рукопись в Москву.

А в Москве осенью, с сентября, начинается у него, как всегда, пе-страя, шумная жизнь. Нет того богатства впечатлений, как в Италии и Франции, нет и собранности, внутренней полноты деревенской жизни, так

питавшей его. Конечно, работает, пишет и тут, но это не «Дуэль». «Дуэль» печатается уже в «Новом Времени» и на «Малую Дмитровку, д. Фирганг» идут отклики с разных концов России. «Пишут какие-то незнакомцы. Письма в высшей степени душевные и доброжелательные».

Эти письма — раннее явление той глубокой и прочной «народной любви», которая будет сопровождать его до могилы.